

А. И.  
КУПРИН

*Избранное*



Александр Куприн

**Дух века**

«Public Domain»

1900

## **Куприн А. И.**

Дух века / А. И. Куприн — «Public Domain», 1900

«Каждый раз, когда Истоминым овладевал знакомый приступ лихорадки, он перебирался из своего комфортабельного, просторного кабинета в маленькую, тесную, темную комнату, которая служила в обыкновенное время гардеробной. Комната эта так и называлась в доме – «папиным лазаретом». Кроме сундуков, в ней стоял диван старинного, неуклюжего фасона, жесткий и неудобный, с прорванной обивкой и вылезавшей из нее наружу мочалкой...»

© Куприн А. И., 1900

© Public Domain, 1900

## Александр Иванович Куприн

### Дух века

Каждый раз, когда Истоминым овладевал знакомый приступ лихорадки, он перебирался из своего комфортабельного, просторного кабинета в маленькую, тесную, темную комнату, которая служила в обыкновенное время гардеробной. Комната эта так и называлась в доме – «папиным лазаретом». Кроме сундуков, в ней стоял диван старинного, неуклюжего фасона, жесткий и неудобный, с прорванной обивкой и вылезавшей из нее наружу мочалкой. Этот ветхий предмет долго возмущал хозяйственную и аккуратную Веру Платоновну. Много раз поднимала она разговор о необходимости продать его старьевщикам и даже ссорилась по этому поводу с мужем, но Павел Егорович, всегда уступчивый, мягкий и покладистый в сношениях с людьми и совершенно равнодушный к мелочам жизни, оказывал в этом вопросе стойкое сопротивление.

– Как! Продать старого, преданного, испытанного друга? – восклицал он, мешая, по своему обыкновению, шутку с искренним чувством. – Нет, это будет хуже чем предательство! Ведь сколько мы со стариком передумали и перечувствовали в мои лихорадочные ночи. И как верно служил он мне во время моих кошмаров. Он бывал для меня попеременно то лошадь с огненными ноздрями, то лодкой, то дельфином, то палубой корабля, то белым индийским слоном... Нет, я с ним не в силах расстаться, Верочка...

И действительно, только тогда Истомин начинал чувствовать себя немного лучше во время своих жестоких пароксизмов, когда водворялся на этом диване и покрывался старой-престарой, еще отцовской енотовой шубой, которая, так же как и диван, только на этот случай и держалась в доме. Очень может быть, что капризная любовь Истомина к дырявому дивану и к изъеденной молью шубе проистекала из какого-нибудь страшно отдаленного воспоминания о болезни, перенесенной в детстве, когда точно так же он лежал на старинном диване, покрытый чьей-то теплой, старенькой шубой.

Как только Павел Егорович водворился на диване, около него ставили столик со свечой, колокольчиком, стаканом холодного чаю и первым попавшимся под руку уголовным романом, потом все по его просьбе уходило, и он оставался один, пылая жаром, забываясь, и бредя, и зачитываясь в сознательные промежутки нелепыми похождениями кровавых героев. Кроме старого лакея, и то по звонку, никто не смел входить в комнату, потому что в этих случаях кротким, любящим Павлом Егоровичем овладевало сильнейшее раздражение: он начинал кричать, швырять бульварные романы об стену, сбрасывал на пол со столика стакан... С течением времени ему удалось дисциплинировать дом? и его на все время болезни оставляли в полном одиночестве. Вера Платоновна называла это причудами, самодурством, но сам Истомин глядел несколько иначе.

– Видишь ли, Верочка, – говорил он иногда в здоровые дни, – все страдания людей происходят оттого, что люди все больше и больше отдаляются от животных. Мы утратили их натуральную красоту, их грацию, силу и ловкость, их стойкость в борьбе с природой, живучесть. Но хуже всего, что сознание убило в людях инстинкты. Ты посмотри на собаку. Если она заболевает, она непременно норовит запрятаться куда-нибудь подальше от нескромных взоров. Хорошая собака никогда не умрет дома. Она убежит в укромное местечко и там сдохнет... Потому что она инстинктом понимает, что смерть представляет собой явление самое противоположное и гнусное, зрелище самое грязное и омерзительное, и она, эта честная, великодушная, самоотверженная собака, скромно избавляет своих бывших друзей от необходимости созерцать самый отвратительный акт в мире. А человек... Человек все извратил, усложнил, перевернул о и в природе, и в самом себе... Доктора, ухаживание, притворство, постные

мины, жалость к самому себе, умиление от жалости других – словом, то наслаждение страданием, о котором говорил великий писатель...

На этом месте Вера Платоновна обыкновенно перебивала мужа.

– Ну да... Все вы, писатели, сумасшедшие. Ты – хоть и не великий покамест, но в этом отношении и от самых больших не отстанешь...

Но она не могла на него сердиться, потому что эти немного жестокие слова встречались нежной, почти женственной улыбкой.

Накануне Нового года этот чудак лежал в своем лазарете в сорокаградусном жару и бредил. Веру Платоновну с дочерьми он отослал на вечер к известному беллетристу Пархому, к которому они были приглашены всем домом. Женщины даже и не пробовали отказать от приглашения, зная, как сильно это раздражит Павла Егоровича.

Он лежал на диване навзничь, с полуоткрытыми глазами. Какая-то страшная, чудовищная масса повисла над его телом. Она казалась ужасно, бесконечно далекой и в то же время почти касалась лица Павла Егоровича; она была гораздо мягче, чем пух, но в то же время ее грани напоминали на ощупь необделанный гранит, – и в этой непонятной двойственности было что-то тоскливое, тревожное и мучительное.

И вот где-то в глубине этой нависшей массы ожила какая-то точка. Впрочем, трудно решить, что это такое: движение, звук или какое-нибудь другое не выразимое словами явление, что-то плавное, тягучее, жалобное, монотонное, чему нет имени. Оно нарастает, вытягивается, увеличивается, крепнет и захватывает тело, мысли и чувства Павла Егоровича какой-то противной, медленной тоской. Оно наполняет собою всю громадную массу, увлекает ее в бешеный ураган, который грозит исковеркать вселенную... и вдруг в мгновение ока все рассеивается, все утихает, остается опять неподвижная масса и вибрирующая где-то в ее глубине точка, и Павел Егорович со стоном открывает глаза.

Он видит знакомую комнату, тень свечного абажура, колеблющуюся на потолке, сознает на минуту и с большими усилиями, что жена с дочерьми уехали к Пархому встречать Новый год, и тотчас же бред снова охватывает его пылающий мозг.

Теперь перед ним целый каскад людей, животных, ландшафтов и в особенности каких-то отвратительных, получеловеческих, полуживотных лиц, которые мерзко и страшно гримасничают и быстро-быстро сменяются одно другим. Павел Егорович чувствует, что у него голова кружится от этой безобразной сутолоки, и он усилием воли на несколько секунд приходит в сознание. Ему жарко; дыхание опалает губы. Он едва успевает сделать глоток из стакана, как опять его воображение становится игрищем бреда... На этот раз он декламирует какие-то стихи, в которых нет слов, а одни бессвязные слоги, и которые страшно тяжело и скучно читать. Но непонятная сила заставляет его читать и читать без конца, не останавливаясь, не передыхая. И так проходят медленные-медленные, мучительные часы, в продолжение которых бесконечное число раз чередуются для Павла Егоровича бред и сознание.

После одного из своих нелепых кошмаров он очнулся со странными словами в памяти. Казалось, какой-то тихий, назойливый голос еле слышно шептал в его голове:

Пусть Новый год  
С собой несет  
Вино, попойки...

«А! Новый год, – подумал Истомин и улыбнулся. – Это тот самый старик, который уходит, согнувшись, а приходит младенец... вино, попойки... приходит младенец... И у обоих ленточки. Ленточки, ленточки, точки...»

Но вдруг, как это часто бывает в лихорадке, в сознании Павла Егоровича произошел неожиданный поворот. Он почти совершенно пришел в себя и подумал:

«Это я лежу в лихорадке. Да. А жена и дети у Пархомовых. Новый год. Последний год в столетии. Вероятно, будут произносить тосты. Дети не любят, скучно. Новый год с собой несет... Ах, это я из бреда. Новый год рисуют стариком. По-моему, пошло. Надо, чтобы отразился дух. Дух времени. С собой несет вино, попойки, о прошептал голос. о Восемнадцатое столетие о маркиз, петиметр в шелковых чулках и пряжки с брильянтами. Наш век о маленький, ма-аленький такой, горбатенький, с двумя головами. А впрочем, был Наполеон. Пусть Новый год с собой несет... Фу, какие гадкие стихи, юнкерские. О чем это я? Дух века, дух века... Дух года, дух дня, дух минуты... все суммируется... Надо вино, попойки... Надо постичь и углубиться духом в дух... Тогда лицо духа прояснится в тумане, и ты прочитаешь в лице его, и уста его отверзутся».

Истомин в бессилии закрыл глаза и тотчас же услышал, как страшный голос, в котором не было ни тембра, ни интонаций, произнес:

– Дух Века говорит.

Истомин прислушался, и вместе с ним прислушалось множество живых существ, которых он не видел, но чувствовал близко около себя.

– Дух века говорит, – продолжал голос, – что проходят мимо него года, и проходят дни, и проходят мгновения – и не остается от них следа во вселенной. И века проходят мимо тысячелетий, и нет от них следа в бесконечности. Ибо тот, кто понял бесконечность, знает, что времени нет.

И тотчас же Истомин увидел необозримое снежное поле и поставленный посреди его трон, на котором восседал старец в белых одеждах, с серебристой бородой и с величественным, но грустным и усталым лицом, на котором отражалась печальная, задумчивая улыбка.

И старец сказал:

– Я Дух Века, и мимо меня проходят годы человеческие.

И мимо него потянулись медленной процессией один за другим древние согбенные старцы. Но одежды их не были похожи на одежды сидящего на троне. На иных, едва прикрывающая их слабое, дряблое тело, висели кусками жалкие лохмотья, от которых отказался бы и последний нищий. Другие были одеты с царственной роскошью, но золота их мантий не было видно из-под покрывавшей его зловонной грязи. Третьи шли, закованные в железо и с ног до головы обогранные кровию, и кровь запеклась на их старческих устах и на седине их голов. Были между ними хромые, и горбатые, и прокаженные, и покрытые страшными язвами. Были между ними старцы, истощенные голодом, были обезображенные чумою, были между ними так жестоко и отвратительно изуродованные, что страшно и противно становилось на них смотреть. И ни у одного из них не было ни белых одежд сидящего на троне, ни его величественного вида. На их лицах запечатлелись страдания, испуг, ненависть, мольба и отчаяние.

В медленной процессии, один за другим, подходили древние старцы к сидящему на троне, а он простирал им навстречу руки и склонялся над ними с кроткой, сострадательной улыбкой. И в его широких объятиях исчезали, растворялись один за другим человеческие годы.

И когда все они прошли мимо бесчисленного множества глаз собравшихся здесь невидимых людей и животных, тот же неизъяснимый голос спросил:

– Поведай нам, Великий Дух, отчего не пристали к твоим одеждам ни кровь, ни грязь, ни язвы, ни лохмотья тех, что вошли в тебя?

И Великий Старец отвечивал с печальной улыбкой:

– Оттого, что страдание все очищает, а забвение все лечит...

Истомин вздрогнул и проснулся с сознанием, что ему гораздо лучше, чем прежде. За стеной часы били двенадцать.